

A highly detailed steampunk illustration of a grand library. The scene is dominated by a large, ornate archway made of brass and machinery, featuring a central circular emblem with a face. A figure in a top hat stands on a raised platform at the end of a wide staircase, looking out through the arch towards a bright, hazy landscape. The library's shelves are packed with books, and various mechanical devices, including flying machines and hanging lanterns, are visible. The sky is filled with clouds and more flying machines. The overall style is intricate and atmospheric, with a color palette of greens, browns, and blues.

Квант М.

Лишние детали мироздания

Квант М.

Лишние детали мироздания

«Автор»

2026

М. К.

Лишние детали мироздания / К. М. — «Автор», 2026

В центре реабилитации для людей с обсессивно-компульсивным расстройством начинают происходить странности: пациенты обнаруживают, что их навязчивые ритуалы меняют реальность. Главврач понимает: мир — гигантский механизм, который смазывается человеческими невротами. Но когда пациенты решают выздороветь, вселенная начинает рушиться. Им предстоит принять свою природу и стать стражами равновесия, чтобы спасти мироздание.

© М. К., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Шестерёнка с сорванной резьбой	5
Глава 2. Танец пустоты	13
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Квант М.

Лишние детали мироздания

Глава 1. Шестерёнка с сорванной резьбой

Центр реабилитации «Равновесие» располагался в бывшей дворянской усадьбе, спрятанной от посторонних глаз старым яблоневым садом. Яблоки здесь давно не плодоносили, ветви деревьев переплелись так густо, что даже в полдень на подъездной аллее царил зеленоватый сырой полумрак. Главный корпус — двухэтажный особняк с облупившимися колоннами — смотрел на мир пустыми глазницами окон, заклеенных изнутри матовой плёнкой. Стеклопакеты с защитой от ультрафиолета и тонировкой были установлены здесь отнюдь не ради загачности. Просто многие пациенты испытывали невыносимую тревогу, если на стекле оказывалось нечётное число разводов, или если луч солнца, пробившись сквозь штору, падал на пол под углом, отличным от прямого. Мир за стенами этого дома регулировался иными законами, и законы эти были строги, словно воинский устав, и одновременно абсурдны, как бред сумасшедшего часовщика.

Главный врач клиники, доктор Разумовский Алексей Филиппович, стоял у окна своего кабинета и смотрел на главные ворота. По гравийной дорожке, старательно избегая наступать на трещины в асфальте, шёл новый пациент. Мужчина лет сорока, в дорогом, слегка помятом пальто, двигался странной, рваной походкой. Три шага — остановка, касание левого виска, резкий поворот головы вправо, снова шаг. Алексей Филиппович машинально отметил про себя классическую картину сенсомоторного ритуала. В руке мужчина нёс небольшой клетчатый чемодан. Стало быть, без вещей не приехал. Уже хорошо. Это означало, что пациент осознаёт необходимость лечения, что он не бежит сюда в панике, спасаясь от видений, а едет основательно, как в санаторий, чтобы разобрать свой разум на части и собрать заново.

Доктор Разумовский вздохнул и приложил ладонь к холодному стеклу. Кондиционер, встроенный в стену позади него, монотонно гудел, нагнетая в кабинет стерильный прохладный воздух без запаха и жизни. В кабинете всё было подчинено строгой симметрии: два одинаковых шкафа с книгами, две картины на стенах, два кожаных кресла перед массивным дубовым столом. Сам стол был очищен от любых мелочей — только стакан с водой, ноутбук да настольная лампа под зелёным абажуром. Никаких ручек, скрепок или стикеров. Всякая мелочь, оставленная на виду, могла стать триггером для случайного посетителя. За двадцать лет практики Разумовский привык к аскетизму. Он и домой перестал приносить сувениры, потому что мозг, натренированный на поиск отклонений, отказывался расслабляться. Беспорядок вызывал у него не тревогу, но глухое профессиональное раздражение, словно у сапёра, заметившего натянутую посреди тротуара проволоку.

В динамике интеркома раздался мелодичный звонок, а затем голос старшей медсестры, Аллы Матвеевны, скрипучий, но не лишённый заботливых ноток:

— Алексей Филиппович, поступил Петровский Аркадий Семёнович. Сорок два года. Диагноз при направлении — обсессивно-компульсивное расстройство смешанного типа, резистентное к медикаментозной терапии. Оформляем?

— Оформляйте, — коротко ответил доктор, не оборачиваясь. — Разместите в седьмой палате. И предупредите дежурного, чтобы убрали из коридора кадку с фикусом.

— А что с фикусом-то? — удивилась Алла Матвеевна.

— У него новый лист развернулся, — сухо пояснил Разумовский. — Четыре жёлтых прожилки на тёмно-зелёном фоне. Если Петровский увидит, будет стоять и считать их до утра. Проверено.

В ответ раздалось неразборчивое ворчание, означавшее одновременно и согласие, и недовольство тем, что придётся звать санитара, но доктор уже отключил связь. Он сел за стол, раскрыл тонкий ноутбук и пробежался глазами по электронной карте новоприбывшего.

Аркадий Семёнович Петровский, архитектор. Женат, двое детей. Первый эпизод зафиксирован восемь лет назад. С тех пор — шесть госпитализаций, срыв за срывом. Схема ритуалов обширная: компульсивный счёт шагов, непереносимость жёлтого цвета в сочетании с зелёным (отсюда и предупреждение о листе фикуса), навязчивое ощущение «незавершённого касания». Это ощущение — одно из самых мучительных в практике врача. Представьте себе, что вам кажется, будто вы не закрыли дверь или не выключили утюг. А теперь умножьте это чувство на тысячу и распространите на любое прикосновение. Человек прикасается к столу и чувствует, что прикосновение было «неправильным», «неполноценным», и начинает бесконечно хлопать ладонью по поверхности, пока не добьётся искомого ощущения, которого в природе не существует. Нервная система гоняет по замкнутому кругу электрический импульс, лишённый логического завершения.

Алексей Филиппович откинулся в кресле, прикрыл глаза и помассировал переносицу. В висках начинало пульсировать. Клиника «Равновесие» считалась элитной. Сюда попадали люди, исчерпавшие лимит надежды на государственную медицину, обладатели тугих кошельков и крайне тяжёлых форм неврозов. Врачи здесь практиковали когнитивно-поведенческую терапию в сочетании с фармакологией, арт-терапией и длительными сеансами психоанализа. Здесь лечили тех, кто мыл руки до кровавых трещин на коже, тех, кто не мог выйти из квартиры, не пересчитав все пуговицы на одежде, тех, кто раскладывал еду на тарелке по строгим цветовым сегментам, иначе — удушье, паника, остановка сердца. Точнее, пациенту казалось, что сердце остановится. Но кто возьмётся утверждать, где кончается иллюзия и начинается реальность, когда речь идёт о психосоматике?

Доктор услышал, как в коридоре зазвучали шаги. Не Петровского — тот сейчас проходил санобработку, смывал с себя дорожную пыль и микробов, каждый из которых казался его мозгу вражеским десантом. Эти шаги были тяжёлыми, шаркающими, с характерным постукиванием трости. Дверь приоткрылась без стука, и в кабинет заглянул Валентин Петрович Сорокин, заведующий хозяйственной частью. В клинике его называли просто Завхоз, хотя сам он предпочитал гордое звание «Смотритель».

Валентин Петрович был стариком могучего телосложения, с седой копной волос, торчащих во все стороны, и большими, словно вырезанными из жёлтой кости, ногтями, которыми он вечно постукивал по дверным косякам или спинкам стульев. Он работал здесь с самого основания клиники и знал каждый её угол лучше, чем строители. Более того, поговаривали, что он обладает каким-то особым чутьём на неисправности. Мог ухом уловить неполадку в вентиляции за три этажа от себя или предсказать прорыв трубы за неделю до аварии.

— Алексей Филиппович, — прогудел Завхоз, переступая порог и аккуратно прикрывая дверь. Пахло от него старой мебелью и табаком, хотя курить в здании строжайше запрещалось. — Я насчёт левого крыла. Там, в подсобке, где старый инвентарь хранится, батарея стучит. Но стучит странно.

— Чем же странно? — вежливо спросил доктор, не испытывая на самом деле ни малейшего интереса к батареям. Его мысли всё ещё крутились вокруг Петровского.

— Ритм не тот. Обычно, если воздух в трубах, то стук хаотичный, разболтанный. А тут — как метроном. Чётко. Раз в секунду. И звук не такой, будто что-то внутри перекачивается, — Валентин Петрович прислушался, склонив голову набок, словно огромный седой попугай. — Я грешу на компрессор, но тот молчит. Отключил я его.

Разумовский рассеянно кивнул. Стуки, шорохи, скрипы — этот старый дом был полон звуков. Пациенты вплетали их в свои системы ритуалов. Стук батареи становился сигналом к началу мытья рук. Стук форточки — командой переставить тапочки строго параллельно ножкам кровати. Вся клиника жила по этим негласным законам, словно гигантский музыкальный ящик, где каждый валик воспроизводит свою навязчивую мелодию.

— Разберусь я с батареей, — пообещал доктор, чтобы отделаться от старика. — Сейчас у меня обход. После обеда зайду.

Смотритель, казалось, хотел добавить что-то ещё, но только крикнул, постучал костяшками пальцев по дверному косяку — шесть раз, машинально — и удалился.

Обход в «Равновесии» был процедурой особой. Он не походил на традиционный врачебный обход в соматических больницах, где доктор в окружении свиты интернов быстрым шагом проносится по палатам, роняя на ходу указания. Здесь каждое посещение палаты превращалось в сложный дипломатический ритуал. Врач должен был не просто оценить состояние пациента, но и пройти сквозь частокोल его личных правил, не задев ни одного. Ибо одно неосторожное прикосновение к «запретному» предмету, один шаг по плитке в «неправильном» направлении могли свести на нет недели терапии.

На третьем этаже, в угловой палате с видом на яблоневый сад, жила Гришина Анна Тихоновна. Ей было шестьдесят четыре года. Тридцать из них она провела в борьбе с числами. Числа преследовали её повсюду. Чётные были друзьями, нечётные — врагами. Но особую ненависть у неё вызывало число семнадцать и все производные от него. Семнадцатое число месяца оборачивалось для Анны Тихоновны адом. Она запиралась в комнате, отказывалась от еды и воды, занавешивала зеркала, потому что боялась увидеть там отражение, состоящее из семнадцати черт лица. Персонал знал: если Анна Тихоновна начала складывать буквы в словах на этикетке чайного пакетика, скоро грянет буря.

Когда Разумовский вошёл к ней, женщина сидела на кровати, вытянув ноги, и смотрела в стену перед собой. На коленях у неё лежала раскрытая книга — томик стихов Ахматовой. Но взгляд был направлен не на строчки. Она считала.

— Доброе утро, Анна Тихоновна, — мягко произнёс доктор, останавливаясь у порога. Он знал, что ближе подходить нельзя: кровать стояла в «красной зоне».

— Доброе утро, Алексей Филиппович, — отозвалась она, не поворачивая головы. Голос у неё был глухой, монотонный. — А вы знаете, что в «Евгении Онегине» ровно пять тысяч четыреста сорок шесть строк?

— Не знал, — честно ответил доктор.

— И я не знала. Пока не пересчитала. Вчера ночью. Пять тысяч четыреста сорок шесть. Делится на два? Делится. На четыре? Нет. Уже не делится. Я всю ночь не спала, Алексей Филиппович. Я думала, можно ли верить Пушкину, если его главный роман не делится на четыре без остатка?

Разумовский слушал, не перебивая. В этом и заключалась терапия. Дать пациенту выговориться, перевести внутренний монолог во внешний диалог. Озвученная мысль теряет часть своей ядовитой силы.

— Пушкин писал сердцем, а не арифмометром, Анна Тихоновна. Может быть, в этом и есть высшая гармония? — спросил он.

Женщина медленно, как механическая кукла, повернула голову. Глаза у неё были красные, воспалённые, но сухие. Она не плакала. Она вычисляла.

— Гармония — это когда делится без остатка. А тут — остаток. Два. Целых две строки лишние. Куда их деть? Они мешают. — Она вдруг замолчала и прислушалась. — Вы слышите?

— Что именно? — насторожился доктор.

— Стук. В стене. Это не батарея. Это шаги. Кто-то ходит. Три шага — пауза. Три шага — пауза. Три шага. А три — это нечётное. Это плохо. — Её голос задрожал, и доктор поспе-

шил сменить тему, чтобы не спровоцировать приступ паники. Он предложил ей прогуляться в сад, где ровные линии подстриженных кустов создавали ощущение упорядоченности. Анна Тихоновна согласилась, но попросила дать ей десять минут на «завершение цикла мыслей».

Разумовский вышел в коридор. Стук, о котором говорили и Завхоз, и пациентка, он тоже слышал. Где-то на грани слуха, почти инфразвук, пульсировал в стенах здания. «Надо всё-таки глянуть на эту чёртову батарею, — подумал доктор, — иначе у меня половина отделения сляжет с навязчивым подсчётом ритмов».

Он заглянул в палату напротив. Здесь жил молодой человек по имени Максим, двадцати пяти лет, страдающий редкой формой ОКР — навязчивой чистотой речи. Он боялся «грязных» слов. Не матерных, нет. Грязными он считал слова, обозначающие разложение, гниение, увядание. Он не мог сказать «плесень», «ржавчина», «труп», «умирать». Если в разговоре всплывало нечто подобное, Максим начинал судорожно мыть руки и полоскать рот, буквально выскребая язык зубной щёткой, пока дёсны не начинали кровоточить. Сейчас он сидел за столом и рисовал. Рисунки у него всегда были кристально чистыми: геометрические фигуры, идеальные линии, ни одного пятнышка. Абсолютная дистиллированная пустота.

Доктор поинтересовался его самочувствием. Максим ответил, что чувствует себя «сносно», если не считать того, что в воздухе сегодня чувствуется «запах». Но назвать источник запаха он не мог. Запах был из категории запретных. Разумовский проверил его язык и дёсны — всё было в порядке, пациент держался. Врач назначил ему увеличение дозы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и пошёл дальше.

Длинный коридор третьего этажа упирался в глухую дверь подсобки, на которую жаловался Завхоз. Эта часть здания почти не использовалась. Здесь пахло сырой штукатуркой и старыми газетами. Разумовский не собирался заходить внутрь, его путь лежал в правое крыло, к палатам для лежачих и тяжёлых, но у самой двери он задержался. Ему показалось, что звук шагов за спиной сменил ритм. Он обернулся — коридор был пуст. Только длинная ковровая дорожка, уложенная для глушения звуков, убегала в сумрак к лестничному пролёту.

Алексей Филиппович приложил ухо к холодной деревянной филёнке подсобки. Изнутри не доносилось ничего, кроме того самого метрономного стука. Чёткого, ритмичного. Но теперь доктор отчётливо понял, что стучит не труба. Звук был сухим, щелчковым. Так мог бы стучать камешек, падающий в жестяную банку. Или... так мог бы щёлкать чей-то сустав. Отогнав нелепую мысль, Разумовский взялся за ручку. Ручка была заперта. Ключ, скорее всего, был только у Завхоза. Доктор решил не нагнетать обстановку и отправился к основному контингенту.

День в «Равновесии» катился по накатанной колее. В полдень подали обед. Трапеза в общем зале напоминала шахматную партию вслепую. Повара знали, что для пациента из пятой палаты пюре не должно касаться котлеты, иначе обед превратится в пытку. Для дамы из восьмой весь столовый прибор должен был быть разложен под углом девяносто градусов к краю стола. Для подростка в дальнем углу еда раскладывалась по цветам: зелёное к зелёному, красное к красному, белое к белому. Персонал двигался бесшумно, словно ниндзя в мягких тапочках, предугадывая желания и страхи. Скандалы случались редко, но метко. Например, когда на прошлой неделе повариха перепутала и положила Аркадию Семёновичу, только что поступившему, зелёный горошек рядом с яичницей (жёлтое плюс зелёное — гремучая смесь!), случился форменный взрыв. Петровский, не проронив ни слова, аккуратно отодвинул тарелку, встал и принялся с методичностью робота стаскивать скатерти со всех столов. Он делал это молча, с выражением глубочайшего удовлетворения на лице, словно освобождал мир от скверны. Три санитара еле скрутили его, не повредив ни ему, ни себе.

После обеда наступал «тихий час». Время, когда пациентам предписывалось лежать в кроватях с выключенным светом и принудительно ни о чём не думать. Упражнение считалось полезным, но на практике превращалось в пытку. Лишённые возможности совершать ритуалы, люди лежали в полумраке, и их мозг начинал пожирать сам себя. Кто-то принимался беззвучно

шевелить губами, проговаривая цифровые последовательности, кто-то выстукивал пальцами по одеялу сложные ритмические рисунки, подавляя желание вскочить и побежать проверять замки и выключатели. Палаты наполнялись тихим шорохом навязчивостей. Воздух сгустился от напряжения, становился вязким, как сироп.

Доктор Разумовский сидел в ординаторской, просматривая записи камер видеонаблюдения. Формально — проверял порядок. На деле — искал причины тревог пациентов. Часто люди с ОКР, несмотря на всю иррациональность их страхов, обладают невероятной чувствительностью. Они замечают малейшие отклонения в окружающей среде, которые здоровый человек пропустит мимо ушей. Завхоз жаловался на стук. Анна Тихоновна жаловалась на стук. Максим чувал запах. Значит, в здании действительно что-то происходило.

Просматривая записи с коридора третьего этажа, Разумовский машинально проматывал пустоту. Коридор, дорожка, закрытая дверь подсобки. Семь часов утра. Завтрак, движение санитаров. Девять утра. Терапия, прогулки. Одиннадцать. Анна Тихоновна выходит из палаты, идёт к окну, стоит там пять минут ровно, затем возвращается. Одиннадцать двадцать три. Дверь подсобки открывается.

Доктор поставил запись на паузу, потом отмотал назад и включил замедленное воспроизведение. Открывается. Сама. Ручка поворачивается, дверная створка чуть-чуть отходит внутрь подсобки, а затем, секунд через пятнадцать, плавно, без единого скрипа, закрывается обратно. Никто не входил. Никто не выходил. Электромагнитный замок, установленный на этой двери, на записи показывал состояние «закрыто» всё время, пока дверь была приоткрыта. Сбой датчика? Сквозняк? Но сквозняк не мог повернуть шариковую ручку с тугим механизмом. Сквозняк распахивает двери, бьёт ими, но не прикрывает их аккуратно и бесшумно. А главное, в этот момент на записи было видно, как ковровая дорожка в коридоре слегка примялась. Словно кто-то невидимый сделал шаг из подсобки в коридор.

Алексей Филиппович почувствовал холодок в области затылка. Не страх, нет. Скорее, раздражение учёного, столкнувшегося с неучтённым фактором. Он был материалистом до мозга костей. Человеческая психика представлялась ему сложнейшим биокомпьютером, в котором глюки кода приводили к ошибкам исполнения. ОКР был ошибкой ввода данных. Но сейчас ошибка фиксировалась объективной аппаратурой. Он скопировал фрагмент записи на рабочий стол и перемотал дальше.

Ночь. Три часа семнадцать минут. В палате у Анны Тихоновны загорается свет. Женщина садится в кровати. Она что-то говорит в пустоту. Губы двигаются быстро-быстро. Затем она встаёт и начинает расхаживать по палате. Маршрут всё тот же: три шага — остановка, касание виска, поворот. Но в какой-то момент она замирает перед стеной, смежной с той самой подсобкой, и прикладывает к ней ладонь. Стоит так около минуты. А затем... Разумовский придвинулся ближе к экрану, напрягая зрение. Качество картинки оставляло желать лучшего, но было заметно, как обои на стене слегка колыхнулись. Будто по ним прошла волна. Будто стена на секунду стала жидкой, а затем снова затвердела.

— Галлюцинация, — произнёс доктор вслух. — Дефект матрицы. Или блик от фар за окном.

Но за окном в три часа ночи не было машин. Клиника стояла в глуши, а фонари на подъездной аллее автоматически гасились в полночь. Он перемотал запись на несколько минут назад, чтобы убедиться в отсутствии внешних засветок. Но вместо этого заметил другое. На ленте времени, в углу экрана, мелькали цифры. Три часа семнадцать минут. Секунды бежали: пятьдесят восемь, пятьдесят девять, ноль-ноль... и вдруг — снова пятьдесят восемь. Секунда повторилась дважды. Или время замерло на долю мгновения, или техника дала сбой. Но если дала сбой техника, то почему пациентка, Анна Тихоновна, в этот самый момент отёрнула руку от стены и с криком упала на пол? На записи было видно, как прибегает ночная медсестра,

как её успокаивают, делают укол. Утром Анна Тихоновна ничего не помнила. Случай списали на приступ.

Доктор захлопнул ноутбук. Ему требовалось развеяться. Слишком много совпадений, слишком много странного давления на психику, даже его собственную. В такие моменты он обычно шёл в сад. Яблоневый сад, одичавший и заросший, был единственным местом, где доктор позволял себе роскошь беспорядка. Там не было прямых углов, ровных линий или раздражающей симметрии. Там всё росло как попало, словно природа утверждала своё право на хаос.

Уже смеркалось. Короткий осенний день гас где-то за верхушками яблонь, раскрашивая небо в фиолетовые и грязно-оранжевые тона. Доктор надел плащ и вышел на крыльцо. Воздух был сырой и плотный, с привкусом прелых листьев. Пахло дымом — истопник на заднем дворе жег обрезанные ветви. В сумерках сад казался декорацией к мистическому спектаклю. Коряги торчали из земли, словно костяные пальцы, а белые стволы берёз, пробившихся сквозь яблоневый строй, выглядели как застывшие призраки.

Дорожка из гравия вела к старой беседке. Разумовский шёл медленно, наступая на мелкие камешки с хрустом, который казался ему сейчас оглушительно громким. В клинике он привык ходить бесшумно, здесь же мог дать волю звукам. Он завернул за угол живой изгороди из шиповника и увидел человека.

У беседки, на скамейке, в полном одиночестве сидел новенький — Петровский Аркадий Семёнович. Он был без пальто, в одном больничном халате, по синему полю которого разбежались бледные полосы. Архитектор сидел, сцепив руки в замок, и смотрел на небо. Его поза была напряжённой, но в то же время какой-то восторженной, словно он увидел там, в вышине, нечто поразительное.

— Не помешал? — вежливо спросил доктор, подходя ближе. Вечерний обход был уже окончен, и появление пациента вне стен палаты в такое время было небольшим, но нарушением режима. Впрочем, Разумовский не был сторонником казарменных методов.

— Присаживайтесь, доктор, — ответил Петровский, даже не взглянув на него. Голос его звучал устало, но спокойно. — Здесь замечательный вид.

Доктор присел рядом. Скамейка была холодной и влажной. Он проследил за взглядом пациента. Небо действительно было красивым. Звёзды только начали проклёвываться на тёмно-синем бархате, над горизонтом висел тонкий серп луны, а на западе ещё дотлеwała оранжевая полоска заката. Ничего аномального. Ничего, что могло бы вызвать у человека с резистентным ОКР приступ паники или, наоборот, эйфорию.

— Я думал, вы не переносите небо, — осторожно заметил доктор, вспомнив карту пациента. — В описании вашего случая сказано: «Агорафобия открытых пространств. Непереносимость хаотичного расположения объектов».

— Неба — да. Боялся, — кивнул Аркадий Семёнович. — Звёзды. Они же расположены как попало. В этом нет никакого порядка. Семь лет я не мог поднять голову, проходя по улице. Я смотрел только под ноги. А если оказывался в поле, меня накрывало удушье. Потому что сверху — хаос. Бесконечный, неконтролируемый, бессмысленный хаос. Это как заглянуть в лицо Бога и увидеть там гримасу безумца.

— Сильный образ, — согласился доктор. — И что же изменилось сейчас?

Петровский разжал руки и положил ладони на колени. Пальцы его слегка подрагивали, но в целом он производил впечатление человека, пережившего катарсис.

— Я ошибался. Там, наверху, нет никакого хаоса. Там есть структура. Но её нужно... прощупать. Вот вы слышите стук, доктор?

Разумовский вздрогнул. Опять этот стук. Теперь он раздавался не из стены, а, казалось, отовсюду. Тихий, ритмичный, на грани слышимости. Словно тикали тысячи часов, спрятанных под землёй.

— Слышу, — признался он.

— Это не батарея, — сказал Петровский. — Это шестерёнки. Мир — это часы. Огромный механизм. А мы, люди, с нашими болезнями, страхами, с нашими идиотскими ритуалами — мы смазка для этих часов. Вот смотрите. — Он поднял руку и легонько постучал костяшками пальцев по деревянным перилам беседки. Три удара. Пауза. Ещё три удара.

Доктор хотел было сказать, что это часть навязчивого поведения, что пациент поддаётся симптоматике, но слова застряли у него в горле. Потому что в момент третьего удара перила под рукой Петровского исчезли. Просто перестали существовать. На их месте секунду висела пустота, серый кисель, пахнувший озоном и старыми часами, а затем перила возникли снова. Но это были другие перила. Гладкие, необлупившиеся, словно их только вчера покрыли лаком. Более того, изменилась часть стены беседки. Исчезли граффити, оставленные кем-то из бывших пациентов десять лет назад.

Разумовский медленно, как во сне, протянул руку и потрогал дерево. Оно было тёплым. Живым. Запахло сосновой смолой.

— Как? — только и смог выдохнуть доктор.

— Оно откликается, — прошептал Петровский, и в его глазах блеснули слезы. Не радости. Ужаса. — Я думал, я псих. Я думал, что схожу с ума окончательно. Но это не так. Я только что у себя в палате три раза хлопнул дверцей шкафа. Знаете, навязчивость, не мог остановиться. И на третьем хлопке у меня исчезла трещина на потолке. Просто взяла и пропала. Будто её никогда не было. А когда я прошептал, глядя на лампу, считалочку, которой меня мать в детстве научила от испуга... — Петровский судорожно вздохнул. — Лампа погасла. Насовсем. Не перегорела, а стала куском камня. Понимаете? Я превратил электрическую лампу в кусок базальта, просто пробормотав «Чур меня, чур, уйди в печурку».

Доктор резко встал. Подошва ботинка скрипнула по влажным доскам беседки. Мозг Разумовского, заточенный под логику и клинический анализ, отказывался принимать увиденное. Он попытался найти рациональное объяснение. Коллективный гипноз. Он сам заразился невротом от пациентов. Индуцированное помешательство. Что угодно, только не превращение лампы в камень.

— Идёмте в дом, — приказал он жёстко. — Вы переутомились, Аркадий Семёнович. Слишком много впечатлений за день. Я введу вам реланиум, и утром мы поговорим об этом. То, что вы видели — игра воображения на фоне отмены старых препаратов.

Но Петровский не двинулся с места. Он продолжал смотреть в небо, где уже отчётливо горели яркие осенние звёзды.

— Вы не понимаете, доктор. Воображение здесь ни при чём. Я чувствую это физически. Когда я совершаю ритуал — правильно, с нужным чувством, с нужной степенью отчаяния — я что-то проворачиваю. Как ключ в замке. И реальность поддается. Словно она только этого и ждала. Словно она... застоялась.

— Бред! — отрезал Разумовский.

— Да? — Петровский медленно перевел взгляд на врача. — Тогда как вы объясните это?

Он протянул раскрытую ладонь. На ней лежал маленький, гладкий речной камень серого цвета, с одной стороны отшлифованный, с другой — шершавый. Разумовский взял его. Камень был тяжёлым и совершенно реальным. И внутри него, в глубине, пульсировала микроскопическая искорка света — остатки электрического заряда.

— Это то, что осталось от лампочки, — тихо сказал Петровский. — Я её заговорил.

Доктор сжал камень в кулаке. Ему вдруг отчаянно захотелось размахнуться и запустить этим камнем в звёздное небо, чтобы проверить — не разобьётся ли и оно, как дешёвая лампочка? Он посмотрел на свои руки, которые слегка дрожали, и внезапно осознал страшную вещь. Стук внутри здания. Метрономный стук запертой подсобки. Он звучал не в стенах. Он звучал у него в голове. И не только у него. Это стучали мысли всех пациентов клиники, син-

хронизируясь в единый ритм. Это гудел огромный механизм мироздания, который требовал смазки.

— Если вы правы, — медленно произнёс доктор, чувствуя, как по спине бегут мурашки, — то лечить вас нельзя. Если вы перестанете совершать ритуалы, то исчезну я. Или всё вокруг.

— Вот именно, — Петровский грустно улыбнулся. — Мы не больные, доктор. Мы — детали этого мира. Лишние детали, без которых, оказывается, всё разваливается. Что будем делать?

В этот момент в главном корпусе клиники, на третьем этаже, в палате Анны Тихоновны раздался душераздирающий крик. Но это был не крик страха. Это был крик ликования. Потому что старая женщина, мучившаяся числами всю жизнь, наконец, поняла, что число «семнадцать» не проклято. Оно является кодом доступа. И сейчас, сложив пальцы в мудру и прошептал его три раза, она растворила стену своей палаты, выходящую в сад, превратив кирпичи в кружащийся в воздухе рой светлячков. Мир начал рушиться, и первыми это почувствовали те, кто всегда считал, что держит его на своих плечах.

Алексей Филиппович Разумовский бросился в дом, оставив Петровского в беседке. Под ногами хрустел гравий, но теперь к этому звуку примешивался новый — звук лопающихся оконных стекол, выгибающихся наружу, словно мыльные пузыри. Левое крыло здания, то самое, где была подсобка, окуталось зеленоватым свечением. Доктор бежал, не чуя ног, проклиная себя за то, что всегда лечил симптомы, но никогда не спрашивал, с чего это вдруг организм решил, что ему необходимо постучать по столу ровно три раза, чтобы Вселенная не свернулась в точку. Оказывается, организм не врал. Оказывается, именно для этого мы и существуем.

Глава 2. Танец пустоты

Гравий под ногами доктора Разумовского превратился в зыбучее месиво. Он не проваливался в него, нет, скорее, сама идея твёрдой поверхности под подошвами стала зыбкой, ненадёжной. Алексей Филиппович бежал к дому, но расстояние, обычно преодолеваемое за полминуты, растянулось, словно резиновый жгут. Воздух уплотнился, приобрёл странный привкус металла, какой бывает, если лизнуть батарейку. Зеленоватое свечение, охватившее левое крыло клиники, пульсировало с частотой человеческого пульса, и в этих вспышках доктор видел невозможное.

Стены особняка, старые, сложенные из добротного красного кирпича ещё при государе императоре, текли. Они не разрушались, не осыпались пылью, а именно текли, словно густая патока, сохраняя при этом свои очертания. Оконные рамы выгибались наружу, стёкла в них лопались беззвучно, разлетаясь не осколками, а горстями светящейся пылицы. Это было красиво, завораживающе и абсолютно противоестественно.

Доктор влетел на крыльцо, схватился за перила, и те предательски дрогнули под его ладонью, словно были сделаны не из дерева, а из плохо застывшего студня. Внутри здания царил хаос, но хаос особого, упорядоченного свойства, словно сбой в программе, которая пытается перезагрузиться, но спотыкается об одну и ту же строчку кода.

— Всем сохранять спокойствие! — крикнул Разумовский, переступая порог, хотя понимал, что голос его звучит неубедительно даже для него самого. Как можно сохранять спокойствие, когда законы физики, которым ты доверял всю жизнь, отменяются по щелчку пальцев сумасшедшей старухи?

В холле первого этажа толпился персонал. Алла Матвеевна, старшая медсестра, прижимала к груди папку с историями болезней, словно это был спасательный круг. Рядом с ней жались двое санитаров, крепкие ребята из бывших спортсменов, лица которых сейчас выражали совершенно неспортивную растерянность. Молоденькая практикантка Таня тихо плакала, сидя на корточках у стойки регистрации, и бессмысленно перебирала пальцами рассыпавшиеся скрепки.

— Алексей Филиппович! — выдохнула Алла Матвеевна, увидев доктора. — Что происходит? Связи нет, электричество мигает, а на третьем этаже... там такое... Анна Тихоновна...

— Знаю, — оборвал её доктор, быстро оценивая обстановку. — Где Завхоз?

— Валентин Петрович ещё днём в подвал ушёл, к щитовой. Сказал, стук его этот проклятый найти хочет. С тех пор не возвращался.

Час от часу не легче. Разумовский стянул с себя плащ, бросил его на стойку и начал раздавать указания, стараясь, чтобы голос звучал жёстко и уверенно. Это было его лекарство от паники — делать привычную работу.

— Значит так. Алла, соберите всех пациентов, кто может передвигаться, в обеденном зале. Проверьте по списку. Никакой самодеятельности. Таня, прекратите истерику, немедленно. Вы мне нужны. Идите в правое крыло, к лежачим. Успокойте их, скажите, что идут учения. Если кто-то начнёт... чудить, — он на секунду запнулся, подбирая слово, — сразу зовите санитаров. Вы двое, — он указал на санитаров, — со мной. Пойдём на третий этаж.

— Может, не надо, Алексей Филиппович? — робко спросил один из санитаров, Витя, парень с бычьей шеей и добрыми глазами спаниеля. — Вызовем МЧС? Или пожарных?

— Каких пожарных? — доктор невесело усмехнулся. — Что мы им скажем? Что у нас бабушка стену в светлячков превратила? Что архитектор навязчивым стуком лампочку в камень переделал? Работаем, парни. Это наша клиника, это наши пациенты. Мы за них отвечаем.

Он и сам до конца не верил в то, что говорил, но инерция профессионализма толкала его вперёд. Подниматься на третий этаж пришлось по лестнице — лифт, повинувшись, видимо, чьему-то случайному желанию, застрял между вторым и первым этажами, и из его шахты доносилось ритмичное гудение, похожее на пение тибетских монахов.

Лестница встретила их запахом озона и старой библиотеки. Ступени под ногами вибрировали, и доктор кожей чувствовал, как по зданию прокатываются волны той самой силы, которую выпустила на свободу Анна Тихоновна. Перила, за которые он держался, были покрыты инеем, хотя температура в помещении явно не опускалась ниже комнатной. Иней образовывал странные узоры — спирали, шестерёнки, крошечные мандалы, которые, казалось, двигались в такт неслышимой музыке.

На площадке второго этажа их встретил Максим, тот самый молодой человек с боязнь «грязных» слов. Он стоял, прижавшись спиной к стене, и вид у него был одновременно испуганный и восторженный. В правой руке он держал лист бумаги, на котором что-то лихорадочно рисовал огрызком карандаша.

— Доктор, — прошептал Максим, и голос его дрожал, — вы слышите? Слов больше нет.

— В каком смысле нет? — Разумовский жестом остановил санитаров и приблизился к пациенту, стараясь не делать резких движений. Максим всегда был хрупок, а сейчас, в изменённой реальности, мог выкинуть что угодно.

— Запретных. Грязных. Они все стали чистыми. Смотрите. — Он протянул доктору рисунок. На листе был изображён замысловатый лабиринт, составленный из букв русского алфавита. Буквы сплетались в слова, слова — в предложения, но прочесть их было невозможно, потому что линии были идеально чисты, без единой пометки. — Я нарисовал слово «плесень». Раньше меня бы вырвало от одного начертания. А сейчас — ничего. Красиво даже. Она как кружево.

Доктор взял рисунок. Бумага была тёплой и слегка покалывала пальцы. Он заметил, что в углу листа, там, где Максим изобразил спираль, бумага стала прозрачной. Сквозь неё просвечивал каменный пол лестничной площадки, но не тот, что был под ногами, а другой — старый, покрытый трещинами и мхом, словно в заброшенном храме.

— Идите в обеденный зал, Максим, — сказал доктор, возвращая рисунок. — Там вас ждут. И постарайтесь больше ничего не рисовать. Хотя бы пока.

Пациент кивнул и послушно зашагал вниз. Разумовский проводил его взглядом и только сейчас заметил, что стена, к которой прижимался Максим, изменила цвет. Из бледно-зелёной, больничной, она стала тёмно-синей, а по ней плыли, медленно вращаясь, серебристые точки, в точности как звёзды в ночном небе. Он моргнул, и видение исчезло. Почти исчезло — на том месте, где голова Максима касалась штукатурки, остался отпечаток, слабо светящийся внутренним светом.

Третий этаж встретил их шквалом ветра, хотя все окна были закрыты. Ветер пах лавандой и нагретой на солнце хвоей, что было совершенно невозможно в середине осени. Он дул из коридора, из того самого тупика, где находилась загадочная подсобка. Но сейчас доктора заинтересовала другая дверь — палата Анны Тихоновны.

Дверь была открыта настежь. Вернее, она исчезла. В проёме, там, где раньше висело тяжёлое деревянное полотно, теперь колыхалось серебристое марево, как раскалённый воздух над асфальтом в жаркий полдень. Изнутри палаты доносился тихий, монотонный голос — Анна Тихоновна разговаривала сама с собой, или, может быть, с кем-то невидимым.

— Семнадцать, — доносилось до них, — восемнадцать, девятнадцать... Нет, девятнадцать — это уже не подходит. Возвращаемся. Семнадцать, шестнадцать, пятнадцать...

Разумовский шагнул вперёд и, преодолевая сопротивление, вошёл в палату. Ощущение было такое, словно он проходит сквозь плотную завесу из миллионов крошечных пузырьков,

лопающихся о кожу. Санитары, Витя и Коля, последовали за ним, но двигались они неуклюже, зажмурившись, как дети.

Палата Анны Тихоновны изменилась до неузнаваемости. Стена, выходящая в сад, отсутствовала напрочь. Вместо неё зиял проём, через который была видна улица, но не та, что окружала клинику. Там, за проёмом, расстился луг, поросший густой, по пояс, травой, а над лугом висело небо с двумя лунами. Одна луна была знакомая, желтоватая, в кратерах. Вторая — алая, словно раскалённый уголёк, и она заметно пульсировала, разбрасывая по лугу длинные тени, которые двигались независимо от источника света.

Анна Тихоновна сидела на своей кровати, подобрав под себя ноги, и выглядела она как шаманка, сошедшая со страниц этнографического альбома. Её седые волосы, обычно собранные в тугий пучок, рассыпались по плечам и искрились, словно в них запуталась паутина с каплями росы. Глаза её, воспалённые и красные, смотрели на вошедших с выражением спокойного, умиротворённого безумия.

— А, доктор, — сказала она, прерывая свой счёт. — Вы пришли. А я вот думаю, какой сейчас год? Там, — она махнула рукой в сторону луга, — растёт трава, которая пахнет так, как пахло в детстве, когда я гостила у бабушки в деревне. Но ведь та деревня сгорела в восемьдесят втором. Вся, дотла. И бабушка умерла. А трава осталась.

— Анна Тихоновна, — доктор осторожно присел на край кровати, стараясь не смотреть на алую луну, чей свет вызывал неприятное жжение в сетчатке. — Расскажите мне, что вы сделали. Только спокойно и подробно.

— Я посчитала, — просто ответила она. — Я всю жизнь считала, доктор. Вы знаете. Складывала, вычитала, делила. Я думала, что борюсь с числами. Что они меня мучают. А оказалось, они мне что-то говорили. Просто я неправильно их слушала. Числа — это язык. Древний, как мир. И число семнадцать — не проклятие. Это ключ. Отмычка. Им можно открыть замки, которые держат реальность на привязи.

Она подняла руку и медленно, отдельно, произнесла: «Сем-над-цать», трижды, и на третьем слове коснулась пальцем воздуха. И воздух расцвёл. Буквально. В точке касания возник сложный, переливающийся перламутром цветок, который через секунду осыпался лепестками, превратившимися в изящных, вырезанных из лунного света бабочек.

— Видите? — прошептала Анна Тихоновна. — Творение. Не разрушение. Я могу создавать. Я, которая всю жизнь боялась выйти из дома. Я, которая считала себя ничтожеством, обузой. Оказывается, я — демиург.

У доктора пересохло во рту. За его спиной санитар Витя судорожно крестился левой рукой, Коля, напротив, застыл с открытым ртом, не в силах отвести взгляд от инопланетного пейзажа за окном. Разумовский понимал, что ситуация выходит из-под контроля стремительно, как поезд с отказавшими тормозами. Если Анна Тихоновна, поддавшись эйфории, продолжит «творить», последствия могут быть катастрофическими. Она ведь не контролирует процесс. Она, как и Петровский, просто нащупала способ взаимодействия с тканью мироздания, но не понимает ни границ, ни цены.

— Анна Тихоновна, — заговорил доктор, тщательно подбирая слова, — это удивительно. Ваши способности... они поразительны. Но подумайте: вы изменили стену. Вы открыли проход в... другое место. Это не может быть безопасным. Для вас, для других пациентов. Мир, возможно, не готов к таким вмешательствам.

— А мир меня спрашивал, готов ли он к моей болезни? — резко возразила женщина, и в её голосе прорезались стальные нотки. — Мир тридцать лет тыкал меня носом в мои несовершенства. Заставлял считать плитки в метро, чтобы не умереть от страха. А теперь, когда я узнала, что мой страх был не бессмысленным, вы хотите, чтобы я остановилась? Нет уж. Я хочу посмотреть, что ещё можно открыть.

Она снова подняла руку, и доктор, повинувшись интуиции, перехватил её запястье. Кожа Анны Тихоновны была горячее, как у больного лихорадкой, и вибрировала мелкой дрожью. Стоило ему коснуться её, как всё его существо пронзила волна силы, идущей откуда-то извне. Это было похоже на удар током, но не электрическим, а каким-то информационным. В голове вспыхнули образы: шестерни, вращающиеся в пустоте; гигантские маятники, отмеряющие эпохи; исполинская рука, перебирающая чётки из галактик. И над всем этим — звук. Тот самый стук, который преследовал его весь день.

— Вы слышите? — прошептал он, обращаясь одновременно и к Анне Тихоновне, и к самому себе.

— Конечно, слышу, — отозвалась она. — Это сердце мира. Оно бьётся неровно. Аритмия. Ему нужны мы. Наши ритмы. Наши счёты. Мы — кардиостимуляторы реальности.

В этот момент за их спинами раздался грохот. Это Коля, не выдержав напряжения, потерял сознание и рухнул на пол, сметая по пути столик с медикаментами. Упав, он сбил с ног Витю, и оба санитары покатались по полу, врезавшись в шкаф. Шкаф, старый, ещё советских времён, покачнувшись, и с его верхней полки сорвалась толстая медицинская карта — история болезни Анны Тихоновны за все тридцать лет. Папка раскрылась, и сотни листов разлетелись по палате, словно стая испуганных птиц.

Эффект был мгновенным. Анна Тихоновна, чей взгляд упал на разбросанные бумаги, испустила истошный вопль. Её сознание, запертое между эйфорией нового могущества и привычным ужасом перед хаосом, дало трещину. Она увидела даты. Числа. Сотни чисел, написанных разными почерками, неупорядоченных, разбросанных как попало. Для неё это было равносильно удару под дых. Порядок, который она ощутила внутри себя, столкнулся с внешним беспорядком, и началась аннигиляция.

— Семнадцать! — закричала она, но на этот раз в голосе был не восторг, а паника. — Семнадцать, прекрати! Замри!

Она сжала пальцы в кулак, и время в палате действительно замерло. На долю секунды. А затем хлынул хаос.

Луг за окном исчез, сменившись ослепительной белизной, в которой плавали чёрные точки, словно бактерии под микроскопом. Алая луна взорвалась беззвучно, разлетевшись на мириады осколков, которые вонзились в пол, в стены, в потолок, прожигая их насквозь. Кровавая, на которой сидела Анна Тихоновна, превратилась в глыбу льда, из которой торчали стебли каких-то доисторических растений. Сама женщина начала меняться. Её кожа пошла рябью, черты лица поплыли, словно она была отражением в воде, в которую бросили камень.

Разумовский, всё ещё державший её за руку, почувствовал, как его собственная плоть начинает вибрировать в резонансе с этим безумием. Он посмотрел на свою ладонь и увидел, что она стала прозрачной. Сквозь неё просвечивали кости и сосуды, а по сосудам бежал не просто кровь, а какой-то золотистый свет.

— Отпустите! — раздался вдруг чёткий, властный голос.

Доктор обернулся и увидел в дверях палаты Петровского. Архитектор стоял, выпрямившись, уже без халата, в каком-то странном одеянии, отдалённо напоминающем то ли больничную пижаму, то ли робу средневекового мастера. В руках он держал свой клетчатый чемодан, из которого торчали разноцветные провода и обрывки ватмана.

— Отпустите её, доктор! — повторил Петровский, переступая порог. — Вы не можете её удержать. Вы — не часть системы. Вы — наблюдатель. Ваша задача — не мешать, а фиксировать.

— Что нести? — прохрипел Разумовский, преодолевая боль и вибрацию. — Она же уничтожает всё!

— Она не уничтожает, — Петровский подошёл ближе, и доктор заметил, что вокруг архитектора формируется едва заметный силовой кокон, отталкивающий хаос. — Она перестраи-

вает. Истерически, бесконтрольно, но перестраивает. Она как сбой в операционной системе, который открывает доступ к ядру. Дайте ей завершить цикл.

И тут Разумовский понял. Ритуал. Всё это время Анна Тихоновна не просто колдовала, она выполняла навязчивое действие. Трёхкратное повторение числа, прикосновение, счет листов. Это был её ритуал, доведённый до абсолюта. И прерывание ритуала вело к катастрофе. Он резко разжал пальцы.

В то же мгновение вибрация прекратилась. Анна Тихоновна глубоко вздохнула и обмякла на своей ледяной кровати, потеряв сознание. Её лицо вернулось в нормальное состояние, если не считать глубоких морщин, прорезавшихся за эти минуты, словно она постарела лет на двадцать. Палата тоже стабилизировалась. Проём в стене исчез, сменившись обычной кирпичной кладкой, но кладка была девственно чистой, без следов штукатурки, словно её только что возвели. Пол был усеян осколками алой луны, которые теперь выглядели как обыкновенные куски шлака. Санитары, Витя и Коля, лежали без сознания, но дышали ровно.

— Пойдёмте, — сказал Петровский, подавая доктору руку. — Им сейчас нужен покой. А нам нужно поговорить. Серьёзно поговорить, Алексей Филиппович. О природе вещей.

Они вышли в коридор, оставив Анну Тихоновну под присмотром подросшей Аллы Матвеевны, которая, крестясь и поминая всех святых, принялась хлопотать над пострадавшими. Коридор был тих. Стук в стенах прекратился, но воздух всё ещё дрожал от пережитого напряжения. Лампы под потолком горели ровным, чуть голубоватым светом, который, как заметил доктор, не отбрасывал теней.

Петровский привёл его в свою палату. Это была небольшая комната, обставленная стандартной больничной мебелью: кровать, тумбочка, письменный стол, шкаф для одежды. Но на столе царил рабочий беспорядок, немыслимый для человека с ОКР, если только этот человек не нашёл в беспорядке новую систему. Повсюду были разложены листы ватмана, испещрённые чертежами. Доктор присмотрелся. Это были не архитектурные проекты. Это были схемы. Сложнейшие, детализированные схемы какого-то механизма, состоящего из шестерён, валов, пружин и поршней, но при этом механизм не был похож ни на что земное. В его центре располагалась спираль, окружённая концентрическими кольцами, каждое из которых было подписано странными символами, отдалённо напоминающими математические формулы, но составленные из букв и цифр вперемешку с рунами.

— Что это? — спросил Разумовский, беря в руки один из листов.

— Мироздание, — ответил Петровский, усаживаясь на кровать и вытягивая ноги. Он выглядел измотанным, но глаза горели фанатичным огнём исследователя, добравшегося до истины. — По крайней мере, его часть. Та, которую я успел нащупать. Я ведь архитектор, доктор. Я всю жизнь проектировал здания. А что есть здание, как не упорядоченная структура? Стены, перекрытия, коммуникации. И вот, оказавшись здесь, в вашей клинике, я понял, что мироздание — это тоже здание. Только спроектированное не людьми.

— Кем же? — доктор присел на стул, чувствуя, как гудят ноги.

— Не знаю, — честно ответил Петровский. — Может быть, никем. Может быть, это самозарождающаяся структура. Как кристалл. Но, как любая сложная система, она подвержена энтропии. Она изнашивается. Шестерёнки стачиваются, пружины ослабевают. И тогда появляются сбои. Люфты. Зазоры. Реальность начинает скрипеть, как несмазанная телега.

Он взял со стола карандаш и постучал им по столу. Три раза. И на третьем ударе графитовый стержень карандаша превратился в прозрачный кристалл, через который были видны не стены палаты, а глубины космоса с медленно вращающимися спиралями туманностей.

— Это и есть люфт, — пояснил Петровский, протягивая доктору карандаш. — Когда я стучу, я воздействую на точку напряжения. Смазываю механизм. И он откликается. Материя становится податливой, потому что в этом месте и в это время реальность истончена. А мы, люди с ОКР, чувствуем эти истончения. Наши навязчивости — это инстинктивное, слепое

тыканье в болевые точки вселенной. Мы чувствуем дискомфорт от скрипа, но не понимаем его природы, и пытаемся заглушить его единственным доступным способом — ритуалом.

Разумовский покрутил в руках кристаллический карандаш. Он был холодным и тяжёлым, словно кусок льда, вырезанный из кометы. Внутри кристалла, в миниатюре, разыгрывалась драма рождения звезды. Он видел газопылевое облако, сжимающееся под действием гравитации, видел первые проблески термоядерной реакции. Это было невероятно, невозможно и абсолютно реально.

— И что же вы предлагаете? — спросил доктор, возвращая карандаш. — Начать поклоняться новому культу? Объявить всех пациентов пророками?

— Нет, — Петровский покачал головой. — Я предлагаю изучать. Понять механику. Смотрите, — он указал на схему. — Я проанализировал несколько своих ритуалов и то, что сотворила Анна Тихоновна. Это не хаотичные чудеса. В них есть закономерность. Во-первых, сила ритуала зависит от эмоциональной заряженности. Чем сильнее страх, тревога, тем мощнее эффект. Во-вторых, каждый из нас резонирует с определённым аспектом реальности. Я — с материей, с твёрдыми объектами. Анна Тихоновна — с пространством и временем. Максим, похоже, работает с информацией, с семантикой. Это как разные инструменты в оркестре. И в-третьих, есть обратная связь. Когда мы совершаем ритуал, мы не просто меняем мир. Мы и сами меняемся. Наш мозг перестраивается. Мы становимся частью механизма.

Доктор задумался. В словах Петровского была пугающая логика. Он вспомнил, как его рука стала прозрачной, когда он коснулся Анны Тихоновны в момент её транса. Он тоже начал меняться. Взаимодействие с этими силами не проходит бесследно.

— А что насчёт обычных людей? — спросил он. — Тех, у кого нет ОКР? Они не чувствуют этого?

— Чувствуют, но не осознают, — Петровский оживился. — Вы думаете, откуда берутся суеверия? Постучать по дереву, чтобы не сглазить. Плюнуть через левое плечо. Не возвращаться с полпути. Это всё рудиментарные ритуалы, осколки древнего знания о том, как вызывать шестерёнки. Но у обычных людей нет нужной степени чувствительности. Их ритуалы слабы, как дыхание комара. А у нас — ураган. Потому что наш мозг десятилетиями находится в состоянии сенсорной депривации, накапливая тревогу. И когда эта тревога находит выход через ритуал, происходит пробой.

Он встал и подошёл к шкафу. Открыл дверцу. Внутри, на полке, аккуратно разложенные, лежали десятки предметов: камни, куски дерева, какие-то железки. Доктор сразу понял, что это такое. Останки вещей, изменённых Петровским.

— Я экспериментировал, — признался архитектор. — Всю ночь. Начал с малого. Лампа. Потом — ложка. Потом — оконная рама. Я научился не только превращать, но и чувствовать структуру вещей. Каждый предмет — это узел в ткани бытия. Его можно развязать, завязать иначе или разрезать. Но каждое вмешательство отдаётся эхом. Посмотрите в окно.

Доктор подошёл к окну. На улице было темно, но тьма была неестественной. Это была не ночь, а скорее отсутствие света, словно кто-то выключил небо. Звёзды, которые так ярко горели час назад, исчезли. Серп луны поблёк и едва угадывался бледным пятном. Яблоневый сад превратился в частокол мёртвых, обугленных стволов, хотя пожара не было и запаха дыма не чувствовалось.

— Это последствия наших игр, — сказал Петровский мрачно. — Анна открыла проход в другую реальность, и оттуда хлынула энтропия. Я перестраивал материю, и каждая перестройка рвала ткань пространства в окрестностях. Мы как дети, играющие с гранатой. У нас есть сила, но нет знания. И если мы продолжим в том же духе, клиника, возможно, устоит. Но внешний мир — нет.

— Внешний мир? — переспросил доктор. — Вы думаете, это распространяется?

— Уверен, — твёрдо сказал архитектор. — Реальность едина. Прорыв здесь означает прорыв везде. Сейчас, пока мы говорим, где-нибудь в городе могут идти дожди из рыб или рождаться двухголовые младенцы. Система пытается компенсировать наши вмешательства, перераспределяя нагрузку. Но у неё есть предел прочности. А мы продолжаем тыкать в неё своими ритуалами, потому что не можем остановиться. ОКР не лечится по щелчку пальцев. Мы привыкли к своим навязчивостям, срослись с ними. Отказаться от них — значит отказаться от части себя. И даже если мы захотим вылечиться, то что будет, если механизм, лишённый нашей смазки, просто остановится?

Вопрос повис в воздухе. Доктор молчал, переваривая услышанное. Всё его медицинское образование, весь его материалистический скепсис рассыпались в прах перед лицом неопровержимых фактов. Он видел, как исчезают и появляются стены, как время идёт вспять, как лампа становится базальтом. Он держал в руках кристалл, внутри которого теплилась живая звезда. Отрицать очевидное было бы безумием. Но принять это означало перечеркнуть всю его предыдущую жизнь.

— Что вы предлагаете? — повторил он наконец.

— Во-первых, установить карантин, — начал перечислять Петровский, загибая пальцы. — Никто из пациентов не должен покидать клинику, пока мы не поймём, как контролировать эти силы. Иначе город, страна, мир будут обречены на хаос. Во-вторых, мы должны изучить феномен. Систематически. У вас здесь психологи, психиатры, есть оборудование для наблюдения. Мы можем составить карту резонансов каждого пациента. Понять, кто на что влияет. И, в-третьих, мы должны найти способ делать это безопасно. Если мы — кардиостимуляторы, как выразилась Анна Тихоновна, значит, мы должны работать в правильном ритме, не сбивая сердце.

— Вы говорите так, будто мы уже смирились с этим, — горько усмехнулся Разумовский. — Будто мы больше не врачи и пациенты, а инженеры реальности.

— А разве это не так? — Петровский посмотрел на него внимательно. — Вы хороший врач, Алексей Филиппович. Вы всегда искали причину болезни. Но ваша ошибка была в том, что вы считали ОКР сбоем. А это — режим отладки. Это способность видеть неполадки в мироздании. Ваши пациенты не больны. Они — одарённые. Или проклятые, это как посмотреть. Но одно ясно точно: мир без них не выживет. И мы должны решить, что с этим делать.

В коридоре снова раздались шаги, но на этот раз другие — быстрые, испуганные. Дверь без стука распахнулась, и на пороге появилась Таня, заплаканная, с трясущимися губами.

— Алексей Филиппович! Аркадий Семёнович! — выпалила она, задыхаясь. — Там... В обеденном зале... Пациенты... Они все... они начали делать свои штуки! Весь зал светится! И Луна... Луна вернулась! Настоящая! И она падает!

Доктор и Петровский переглянулись и, не сговариваясь, бросились вон из палаты. Бежать пришлось недалеко — обеденный зал находился на первом этаже, в противоположном крыле. Но то, что они увидели, вбежав туда, заставило замереть даже видавшего виды Разумовского.

Обеденный зал больше не был залом. Он превратился в амфитеатр под открытым небом, хотя над головой всё ещё угадывались очертания потолочных перекрытий, увитых светящимися лианами. В центре зала, на месте, где раньше стояли столы, образовалась воронка из переливающегося света, уходящая куда-то вглубь, в ядро планеты или ещё глубже. Вокруг воронки, взявшись за руки, стояли пациенты. Их было около двадцати человек. Все, кто был способен передвигаться.

Они образовали круг, и каждый совершал свой собственный ритуал, но при этом все ритуалы были синхронизированы каким-то немислимым образом. Максим рисовал в воздухе буквы, которые тут же материализовались золотыми нитями и вплетались в общий узор. Пожилой мужчина с аритмичным счётом вслух отбивал ритм — не просто слова, а вибрации, заставлявшие пол дрожать. Женщина, боявшаяся микробов, терла руки с такой силой, что между

ладонями у неё вспыхивали молнии. И все они смотрели вверх, где сквозь прозрачный потолок была видна Луна.

Луна действительно падала. Она увеличилась в размерах вдвое, втрое и продолжала расти, занимая уже половину видимого неба. Её поверхность, обычно серебристо-серая, теперь пульсировала багровыми и оранжевыми пятнами, словно на ней извергались тысячи вулканов. И самое страшное — она была беззвучна. Такая махина, несущаяся к Земле, должна была издавать чудовищный гул. Но стояла мёртвая тишина.

— Они хотят её остановить, — прошептал Петровский. — Они инстинктивно объединились, чтобы предотвратить катастрофу. Но их силы не хватит. Они не умеют работать вместе. Это всё равно что заставить симфонический оркестр играть без дирижёра и без нот.

Доктор видел, как напряжены лица пациентов. Как с губ Анны Тихоновны, которую каким-то чудом привели сюда, срываются числа, и каждое число зажигает в воздухе искру. Как Петровский, стоящий рядом с ним, судорожно сжимает кулаки, и костяшки его пальцев белеют. Он чувствовал их боль. Их страх. Их отчаянную, самоубийственную решимость.

Он вдруг понял: всю свою жизнь эти люди были изгоями. Их сторонились, над ними смеялись, их лечили таблетками и гипнозом. А теперь они, единственные из всех, встали между Землёй и небом, пытаясь голыми руками удержать падающий спутник. И они не могли не пытаться. Потому что это тоже было частью их навязчивости. Непреодолимое желание всё исправить.

— Мы должны им помочь, — сказал Разумовский, не узнавая собственного голоса. — Как? Как нам помочь?

— Ритм, — вдруг осенило Петровского. — Им нужен ритм! Единый, общий, который синхронизирует их усилия. Посмотрите на воронку! Она пульсирует. Её пульс — три удара в секунду. Сто восемьдесят в минуту. Темп presto. Если мы сможем задать им этот темп, они смогут резонировать в унисон!

— Но как? Как им задать темп?

И тут доктор вспомнил. Подсобка. Таинственная комната в конце коридора третьего этажа. Стук. Тот самый стук, который он слышал с самого утра. Это не батарея. Это не трубы. Это — метроном мироздания. Его пульт управления. И ключ к нему, по словам Завхоза, находится в подвале, в щитовой.

— Уводите людей! — крикнул он Тане и санитарам, которые столпились у входа, не в силах двинуться с места. — Уводите всех, кто не участвует, в правое крыло! Там стены пока держатся! А вы, — он повернулся к Петровскому, — оставайтесь здесь. Вы — архитектор. Вы должны рассчитать структуру. Найдите точку опоры для их энергии. Иначе она их сожжёт.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.